

С/УЗ/

М63

РАУЛЬ МИР-ХАЙДАРОВ



ОРЕНБУРГСКИЙ
ПЛАТОК



С(У38)
М 63

ПИСАТЕЛЬ МОЛОДЫЕ ПИСАТЕЛЬ

РАУЛЬ МИР-ХАЙДАРОВ

ОРЕНБУРГСКИЙ ПЛАТОК

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМ. Н. К. КРУДОВОЙ

МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1978

838389

нас, кормилица, поилица, красавица наша, радость наша, — продолжал дед, поглаживая нагретую солнышком спину Голландки.

«Как же я Августине скажу?» — думал дед, снова возвращаясь на завалинку.

День пролетел незаметно, но сказать бабушке о своем решении дед так и не отважился.

Ночью он долго ворочался, кряхтел, поглядывая в темноту, где лежала бабушка Августина. Старик знал, что и она не спит.

— Мать, а мать... я того, решил продать Голландку, — выдавил с трудом из себя дед.

Бабушка ничего не ответила, только уловил он краем уха, как зашлась она в беззвучном плаче.

— Будя, будя, мать... всякому ведь я ее не продам...

ОРЕНБУРГСКИЙ ПЛАТОК

Памяти Сании, сестры моей

«Наверное, поезд опоздал», — Фарид то и дело дышал на оконное стекло, но, сколько его ни отогревай, не отогреть.

Мороз в этом году постарался, даже между рамами тянулся целый ледяной хребет, и от окна несло холодом, как от двери. Фарид плотнее подоткнул куски старого одеяла в щелях и щербатом пороге.

«Успело наместить», — подумал он и смел снег с земляного пола, а то заругает мать, что не следил за дверью, выставил землянку.

Печка едва теплилась, но Фарид боялся подложить кизяку: с топливом в этом году было худо. Задуло и задождило с сентября, и теперь в полуразвалившемся сарае кизяк занимал крохотный уголок, а зима по календарю еще и не наступила.

Забравшись на нары, поближе к печи, Фарид придвинул к себе узелок с нечесаным пухом и принялся выбирать волос, как ему наказала мать.

«Скорее бы пришла Фания-апай из школы», — думал Фарид, хотя знал, что вторая смена у восьмого класса кончается уже затемно.

Горка выбранного пуха росла медленно, и Фарид опытным глазом прикинул, что с этим узелком возиться ему еще с неделю.

— У тебя, сынок, глаза молодые, острые, — говорила мать. — Никто в Степном лучше тебя пух не вычистит.

Долгие зимние ночи сидели они на саке вокруг большой керосиновой лампы, каждый за своим делом. Фания пряла. Мать говорила, что пальчики у нее чувствуют пух и быть ей хорошей шальчи — вязальщицей платков: пряжа у нее получалась ровной, тонкой. Мать пропускала выбранный Фаридом пух через страшную ческу, двухрядный частокол высоких иглол, их почему-то называли цыганскими. Руки матери взлетали высоко над ческой, и Фарид всегда боялся, а вдруг она поранится о блестящий частокол. Как бы мать не хвалила, какие у нее ловкие и быстрые помощники, истинной сноровкой шальчи владела только она сама. В Степном, где треть жителей кормилась вязанием, Гульсум-апай считалась искусной мастерицей, ее платки быстро и легко пушились, носились долго, а кайма у них была на загляденье, широкая, зубчики ровные, один к одному, и узор у каждого платка свой, неповторимый.

Завмагу сельпо Кожевякиной, толстой краснолицей хозяйке узелка с пухом, в Степном никто бы не отказал связать платок. Характер у Нюрки крутой и на паевую книжку дает сколько бог на душу положит, но и она, первая поселковая модница, пришла к Гульсум.

Фарид слышал, как мать говорила:

— Нюра, пух по цвету богатый, у меня и нитки подходящие есть, но волоса слишком много, и за две недели

не выбрать. И в работе у меня еще три платка, люди добрые за них давно уж расплатились.

— Меня, тетя Галя, сроки не волнуют, слава богу, есть что носить. Ваш прошлогодний платок не у одной бабы в Степном зависть вызывает, а мне вот теперь маленькую шаль захотелось...

Насчет добрых людей... Ведь и Кожевякина — не последний человек в Степном.

— Пуд муки вам авансом приготовила. — Нюрка оглядела сырую, по углам в наледях землянку и добавила: — Нехай Фаридка к вечеру в сельмаг забежит. Будут ящики из-под мыла, не пожалею.

Зная далеко не щедрый характер Кожевякиной, мать попросила:

— Чаю плиточного с полкило да сахару, Нюра, добавь к авансу, пух-то...

— Ладно, ладно, по рукам. За мукой счас, что ли, пойдешь?

— Счас, счас, — заторопилась мать и, уходя, улыбнулась сыну.

Едва дверь захлопнулась, Фарид заплясал, ему уже чудился запах горячих лепешек.

Ошиблась мать на радостях, увидев Кожевякину с заказом: третью неделю одолевал Фарид узелок.

— Нюрка, да чтоб прогадала?! Она-то и пух выменяла у наших казахов из аула за чай да за кило халвы, — горячилась соседка Науша-апа, забежавшая на огонек.

Мать, тяжело вздыхая, молчала. Непоседливая Науша скоро распрощалась, и мать, поплотнее прикрыв за ней дверь, вернулась к печи. Фания заворуженно смотрела, как спицы, словно шпаги, мелькали у нее в руках, и думала: «Неужели и я когда-нибудь смогу вязать так быстро и красиво, как мама?»

— Опять ссутулился, как старичок, смотри, девочки любить не будут, — добродушно ворчала мать.

Фарид густо краснел, на какое-то время выпрямляя

плечи, но частый и мелкий волос снова гнул к лампе.

Вот и сейчас Фарид приподнял плечи и оглянулся: в низкой и плохо протопленной землянке сгущались сумерки, а матери все не было.

«И уроки еще не сделаны», — мелькнула и тут же пропала мысль. В тревоге за мать Фарид то и дело выскакивал на улицу и окончательно выстудил землянку. В голову лезли разные страхи.

«А вдруг поезд из-за опоздания сократил стоянку, и мама проехала до следующей станции, чтобы пройти с платком по вагонам... А вдруг у нее его вырвали?» Фарид знал, что, хотя война давно кончилась, в теплые края, к Ташкенту еще охотнее потянулась разная шпана. «А может, конфисковали?» — Фарид знал и это недетское слово. «Только бы дядя Великданов сегодня на станции дежурил», — молился он, как бабушка Рабига, сложив ладошки, повторяя короткую суру, что обычно произносил перед сном.

Недавно прошел слух, что увольняют Великданова, говорят, развел на станции спекуляцию.

«Кто теперь предупредит маму да и других, что будет облава и что лучше перетерпеть несколько дней, чем остаться без шали, без пуховых перчаток или дюжины шерстяных носков.

А может, маму задержали, ведь ее уже предупреждали, чтобы не ходила к поездкам с шалиями?»

Фарида вдруг стало так страшно, что он заплакал.

— Сынок, что случилось? — Уронив у двери какие-то свертки, Гульсум кинулась к сыну.

Фарид прижался к ее промерзшей куцей телогрейке и, не чувствуя холода, плакал навзрыд.

— Ну хватит, ты уже большой, единственный мужчина в доме. Лучше спроси, как у меня дела. — Гульсум гладила сына по давно не стриженной головенке. — Сейчас зажжем лампу, протопим печь, поставим чай. Ну, смот-

ри, что я принесла. — И она стала собирать с полу свертки.

Кипел, похлопывая крышкой, на плите чайник, мать жарила в казане, на чистом бараньем сале, баурсаки. Заправленная под горлышко, с новым фитилем лампа освещала дальние углы землянки. От печи, щедро заваленной киззяками, струилось тепло.

— Продала? — прямо с порога спросила вернувшаяся из школы Фания.

— Продала, доченька, продала, раздевайся, у меня уже все готово.

Фания быстро скинула валенки и, притулив их к печи, уселась на саке, рядом с Фаридом.

— Ты сегодня долго не шла, я уже соскучился, — тихонько сказал мальчик и прижался к сестре.

Гульсум растелила скатерть.

— Ну, рассказывай, мама, — торопила Фания.

Подкладывая в деревянную чашу обжигающие баурсаки, Гульсун начала:

— Стоим, значит, на перроне час, другой, а московского все нет. Я так намерзлась, что решила было уйти, как вдруг далеко у семафора паровоз прогудел. Ну, слух у нас точный. Пассажирский, решила, а тут и он. Мороз. Никто из вагонов и носа не высунул. Нагима с соседней улицы и говорит: «Давай, Гульсум, до следующей станции проедем, успеем половину вагонов обежать». Вдруг распахивается напротив нас дверь, и молодой военный с подножки спрашивает:

— Мамаша, сколько за платок просите?

А из-за плеча у него барышня выглядывает, наверное, она из окошка платок приметила.

Я уж самую малость и назвала, ведь неделю с ним к поездкам хожу.

— А вы не могли бы подняться к нам? — спрашивает барышня, а военный, такой вежливый, даже руку подал, помог в вагон подняться.

Накинула она платок на плечи — и к зеркалу, а оно у них во всю дверь.

— Какая прелесть! Какая прелесть! — щебечет барышня, а шаль ей и правда к лицу. Потом спохватилась она, что поезд может тронуться, и так удивленно переспрашивает: — Семьсот?

Тут я и обмерла. Неужто торговаться станет? А уступать мне и копейки нельзя.

— Семьсот, — говорю, и шаль стала сворачивать.

— Вадим, заплати, пожалуйста, восемьсот, уж больно шаль хороша, да и апа пусть нас помнит, — и так хорошо засмеялась барышня и обняла меня.

— Рахмат, — говорю, — доченька, рахмат, — а у самой слезы на глазах, денег, что он отсчитывает, не вижу. Так и сунула не глядя в карман.

Я уже к выходу пошла, как догоняет меня Вадим этот и протягивает коробку.

— Возьмите, мамаша, — говорит, — это мой сухой паек. Здесь галеты, тушенка...

Галеты эти, сухари такие, Фариду сразу понравились.

— А из тушенки я вам завтра суп сварю. Какие красивые, счастливые люди, храни их аллах!

Гульсум достала из потайного кармана стеганой душегрейки узелок и, развязав его, положила у края скатерти пачку денег.

— Только я соскочила с подножки, тут же набегали товарки. Особенно торопились те, кому я задолжала. Десятку, другую пришлось взаймы дать. Одной только мне сегодня и подфартило. В воскресенье, пораньше, пойдем с Фаридом на базар, купим возок кизяка у аульных казахов. — И Гульсум отложила половину оставшихся денег в сторону.

— А это вам на кино, — Гульсум протянула сыну трешку: не отделишь тут же, не выкроить потом и рубля.

Фарид на радостях чуть не опрокинул пиалу.

— Это — керосинчику, это — за радио, это — деду

Матвею за валенки, три раза без денег подшивал, а это — Нюрке старый долг, уж больно косо смотрит, прямо в магазин не ходи, — и стопки денег как не бывало: перед Гульсум лежало несколько измятых рублевок и горстка мелочи, — а это нам на расходы...

Видя, как торопливо Фарид припрятал трешку, Гульсум улыбнулась.

— Не унывайте, дети. Руки целы, ноги целы — проживем. С такими помощниками не пропаду, — потрепав Фарида по голове, Гульсум стала убирать со ска-терти.

Поздно вечером, снова усевшись в кружок возле лампы, согнулись все над Нюркиным узелком. Гульсум потихоньку напевала о Кара-Урмане, о привольных берегах далекой Ак-Идели. Иногда вдруг замолкала: каждый зубец требовал точного счета петлям.

— Мама, уже вторая четверть, а у меня за учение не уплачено, не отчислят меня из школы?

— Глупенькая, не беспокойся. Пока Кузнецов директор, такому не бывать. Летом встречает меня на улице и говорит: «Гульсум-апа, ваша Фания способная девочка, вот кончит десятилетку, вам помощь и опора будет, грамотный человек нигде не пропадет. А с одежкой мы вам поможем, выкроим что-нибудь из школьного фонда. Война позади, теперь легче пойдет».

А ведь как в воду глядел. Думала я, хватит тебе и семилетки, платки вязать ума большого не надо. А терпением и сноровкой аллах тебя не обидел. Да и в чем тебе на занятия ходить, ломала голову, ты уже девушка. Не хотела говорить тебе, да к слову пришлось. Форму, и платье шерстяное, и пальто, и валенки — все в школе мне выдали. Вызвал Кузнецов к себе в кабинет и говорит: «Вот, Гульсум-апа, для дочки вашей». А на стульях и для других учеников одежда лежит, а пальтишки разных цветов и фасонов.

Тонкий человек ваш учитель, все учел, меня одну

вызывал, от любопытных глаз и глупых языков оберегал, аккуратно подарок завернул, перевязал и наказал, чтобы вам не говорила, что одежда казенная, мол, учтите, детская душа — штука сложная. Так что учись, дочка, не одна я о вас пекусь. А за учебу мы заплатим как-нибудь.

Гульсум прикрыла задвижку у печи и продолжала неторопливый разговор:

— И пенсию вам, хоть и малую, тоже Кузнецов хлопотал. Пришла к нему в слезах: «Помогите, — говорю, — Юрий Александрович, в собесе крутят, мол, похоронка у меня не та. Как не та, когда почти все мужики из Степного в один день погибли под Москвой. И в один день нам казенные письма почта принесла. В тот вечер плач из Степного, наверное, в самом Оренбурге был слышен».

А директору не знать ли об этом, митинг-то на другой день в школе прошел. В похоронке нашей, одной-единственной, написано было: «Пропал без вести».

А куда ему, отцу нашему, там пропасть, когда мужики из Степного вокруг него и держались. Весельчак и верховода отец наш был, да и партийный к тому же. И в эшелоне, который целый час простоял в Степном, отец старшим по вагону ехал.

Пошли мы тут же с директором вашим в собес, правда, я во дворе осталась. Сил моих больше не было, боялась — драться кинусь.

Час жду, другой, вылетает вдруг Юрий Александрович и, на ходу оборачиваясь, совсем не по-учительски ругается: «Сволочи! Бюрократы!» Потом немножко остыл и говорит: «Ты уж, Гульсум-апа, наберись терпения и жди, а я в Москву напишу».

Полгода ждала, а Кузнецов все это время в разные учреждения писал, но пенсию все-таки выправил. Добрыми делами и на добрых людях земля держится, никогда не забывайте об этом, дети.

Декабрь пришел в занесенное снегами Степное студенными ветрами. На дню несколько раз меняя направление, ветер сбивал с ног прохожих. Закрутило, заметелило. В школе отменили занятия.

Ветер, завывая в трубе, рвался в землянку, словно собирался ее разворотить. День и ночь, не умолкая, гудели за окном натянутые, как тетива, заиндевелые провода. Гульсум, подкладывая кизяк в ненасытную утробу печи, с тревогой думала: «И в это воскресенье, видно, не бывать базару, кто рискнет приехать из аулов в такой буран?»

Купленный с Фаридом кизяк убывал, казалось, не по дням, а по часам. Гульсум, накинув фуфайку, кидалась к соседям, дальним и близким: купить, взять взаймы, выменять десяток кизяков. Иногда удавалось.

«Только бы пурга унялась к воскресенью», — молила Гульсум и, хотя денег у нее на такую большую покупку, как воз кизяка, не было, верила, что казахи, не раз выручавшие ее, поверят в долг и в этот раз.

В такие вечера, когда на улицу и выглянуть-то было страшно, приходил гость. Появлялся он всегда неожиданно, и скрипучая дверь отворялась бесшумно. Сначала дверной проем заполнял большой грязный канар с заплакатами, который гость ставил тут же у двери, а сам возвращался в сенцы и долго отряхивал там полушубок и казахский малахай-тумук. Входил в землянку уже в гимнастерке.

— Гимай-абы, вам идти с другого края села, из-за станции, не боитесь сбиться с пути в пурге? И как это у вас ловко с нашей старой дверью получается? — спрашивала Фания.

— Я, дочка, с первого дня начинал в дивизионной разведке, а кончил в зафронтвой.

— А почему вы папу с собой не взяли? — Фарид перебирался ближе к гостю.

— На войне, Фарид-батыр, не спрашивают, кто с кем

хочет воевать. Меня в эшелоне заметил какой-то майор, не доезжая Москвы, я и распрощался с Шакиром.

Гульсум молча возилась у плиты.

— Наживешь ты, Гимай, с этим канаром беды, — говорила она гостю за чаем.

Гимай, поглаживая чапаевские усы, смеялся:

— Сколько раз объяснял тебе, что за мной числятся только штуки кож, а посылают нам в вагонах нестриженные шкуры. Кожзавод наш — одно название, а на деле — артель кустарная. Дубить не успеваем, не то что стричь шкуры. Так и кидаем в чаны, а после каустика шерсть никуда не годится. Из чанов вилами ее приходится выбрасывать, животы надрываем... По совести говоря, за это тебе еще платить бы надо. Остриженных шкур в чан вдвое больше влезет, на чистке чанов день экономим, раствор сохраняем. Кругом, считай, выгода.

— Так-то оно так, — соглашалась мать, но упорно гнула свое: — А шерсть все-таки государственная.

— Оттого в бураны и хожу, что людей дразнить не хочу, а бояться мне некого. Я не вор и не мошенник, я и на фронте с поднятой головой ходил.

Одним неуловимым движением Гимай оказывается у канара, и сильные руки его выбрасывают на середину землянки шкуру за шкурой.

— Разве можно такое добро губить? Смотри, вот несколько козых, с пухом. На шаль не пойдет, а на перчатки — загляденье!

— Мериносовая... — слышится с полу тихий голос Гульсум. Она ползает по шкурам, вырывая, где можно, клочья шерсти... — Какие паутинки связать можно...

— А я о чем! — Гимай выбрасывает последние шкуры, и пустой канар, как у фокусника, исчезает в полушубке. — Я вот наточил, как обещал. — Из кармана полушубка вынимает завернутые в тряпицу острые, тяжелые ножницы. Из другого кармана достает ком вязкого мыла, которое варят на том же кожзаводе, и идет к раковине.

ку. — Только мыла не надо жалеть, а то в этих шкурах любую заразу можно подцепить.

Прямо по шкурам довольный Гимай возвращается к самовару.

* * *

Как ни ярилась зима, неожиданно она сдалась, словно поняв, что не сломить ей маленький, по трубы занесенный поселок Степной. И, как бы винась за разметанные по ветру обледенелые стога, за стужу в сырых землянках, за пучки соломы, развеянной по безлюдным улицам, за ягнят, не выживших и дня в продуваемых насквозь кошарах, за поезда, застрявшие на голодных полустанках, вдруг установились в Степном такие дни, какие помнили старожилы только в добром давнем, довоенном времени.

Что-то произошло не только с погодой, повеяло и от жизни теплом близких перемен. Все чаще слышалось полузабытое слово «надежда».

И правда, словно расчищая дорогу новому наступающему году, у Нюркиного магазина появилось объявление, что с первого января будет снижение цен на промышленные товары, и следовал длинный перечень нужных и ненужных для жителей Степного вещей.

Но еще более радостная весть прокатилась солнечным днем по Степному: обещали открыть надомную артель вязальщиц. Настоящее предприятие с авансом и с зарплатой. «С авансом и с зарплатой! С авансом и с зарплатой!» — катилось от заснеженного двора к двору.

Уже не отменялись занятия, и мальчишки с окраин Степного катили в школу на прикрученных к валенкам коньках. Ожил школьный двор на переменах. Оттаяли и умолкли провода, появились исхудавшие за зиму, голодные воробьи. В такие радостные дни сбылась давняя мечта Фарида — мать разрешила ходить ему на станцию к поездам за шлаком.

Гульсум, изучившая кормилицу-станцию как собственный пустой двор, долго противилась этому, потому что знала, шлак и та малость, какую можно добыть у паровозов, — монополия дружных, не по годам дерзких ребяташек железнодорожников, живших тут же, в кирпичных домах при станции, за огромными огнедышащими горами шлака.

Но Фарид страстно уговаривал ее, что самый отчаянный из мальчишек, по кличке Кожедуб, учится с ним в одном классе, да и не каждого, мол, задирают станционные, а только тех, кто из жадности пытается урвать больше всех. А он не буржуй, ему больше всех не надо.

Последним доводом он развеселил мать так, что рассмеялась Гульсум от души, легко и весело, как много лет назад.

— Не буржуи, значит, мы?..

...Не буржуи...

После школы Фарид установил на санки крепкую корзину, кинул в нее помятое и залатанное цыганами ведро и поспешил на вокзал.

Дух станции, особенный, неповторимый, ощущался за квартал, а отвалы на фоне саманных, выросших в землю построек Степного казались горами и были видны с каждого двора. Запахи тлевшего в недрах отвалов шлака, подпаленных креозотовых шпал на местах чистки топок, машинный запах больших сдвоенных паровозов и пар, клубившийся вокруг них, всегда волновали и влекли мальчика.

Он знал: отсюда по двум тонким нитям путей уходит дорога в какую-то иную жизнь. Оттуда, из этой жизни, приходят поезда, пахнущие теплом и летом, красным апортом и желтыми мандаринами, поезда, в которых, рассказывала мама, зеркала во всю дверь и настоящие ковровые дорожки и где едут вежливые военные, и красивые

барышни, и еще много всяких других людей, кому Фарид отказал бы в таком праве.

Как и подобает человеку, занятому делом, проходя мимо прибывшего состава, он не стал глазеть на торги у вагонов, хотя слышал воркотню толстых пассажиров в тяжелых шубах, накинутых на яркие китайские халаты.

— Какой узор! Какая изящная кайма!

— А пушится, а пушится-то как!

Как мудрец среди шаловливых детей, Фарид улыбался и беззлобно думал: «Пушится? Да как же ей не пушиться?»

Он-то знал, как невысказанно долг путь до того момента, когда шаль могла оказаться на чьих-то зябнущих плечах.

Он словно воочию видел своих сверстников в казахских аулах, выхаживающих маленьких шаловливых козлят, видел чабанов, изо дня в день, из года в год, в стужу и зной кочующих со стадами в скудных степях, продуваемых летом и зимой злыми ветрами. Видел он быстрых и умелых, как мама, женщин, счесывающих по осени пух. Знал не понаслышке, сколько тепла человеческих рук — детских, женских и суровых мужских — вложено в красавицу шаль, знал, сколько слез пролито над ней в холодных кошарах и в тени керосиновых ламп, и не удивлялся восторженным восклицаниям покупательниц...

Пережидая, пока женщины перетащат на носилках шпак после ташкентского скорого, Фарид с высоты отвала впервые оглядывал лежащее внизу Степное. Вдали виднелась крытая шифером школа, а рядом под ярко-зеленым железом — сельсовет с обвисшим флагом, остальные дома можно было различить лишь по тонким струйкам дыма, тянувшимся, казалось, прямо из-под снега. Далеко вдоль путей высился похожий на одnogорбого верблюда элеватор. На потемневшем цинке обшивки прямо на горбу криво и некрасиво написано «1927 год». Заслонив эле-

ватор облаками пара, пронесся скорый на Москву. Когда облако рассеялось, Фарид увидел, как путейцы поставили на рельс мадерон и стали грузить свой тяжелый инструмент: ломы, кирки, молотки, кувалды.

Фарид всегда невольно отличал путейцев от всех других людей. Может, оттого, что пока он знал одну-единственную профессию, которая не зависела ни от времени года, ни от погоды, ни от сельсовета, да и ни от кого-либо еще.

Сколько Фарид себя помнил, столько и знал он каждого путейца Степного в лицо, и всегда у них была работа, а значит — аванс и получка. А еще он знал, что им положен настоящий уголь, и могут они выписывать старые шпалы, а из них ставить добротные, теплые сараи. А главное — и это казалось уж совсем волшебством, — каждому ежегодно полагался бесплатный билет в любой конец Советского Союза — и обратно, конечно. В любой конец! Перед Фаридом при этом всегда оживал старенький школьный глобус.

«Вырасту и стану путейцем», — глядя вслед удалявшемуся на перегон мадерону, подумал мальчик и улыбнулся.

ГОЛУБЫЕ САМОСВАЛЫ

Проезжая станцию с весенним названием Март, проводники непременно покажут промелькнувший у окна указатель — длинную, обоюдоострую стрелу, сообщающую: «Азия — Европа». Указатель находится на перегоне, и поезда проходят мимо на высокой скорости, создавая ощущение, что стрела летит навстречу.

Не каждому селению дано стоять на стыке двух континентов, а Март возник давно, даже не подозревая, какую честь оказала ему география. Ничем другим районный центр Март от соседних не отличался. У широких